

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Золото



Дмитрий Мамин-Сибиряк

Золото

«Public Domain»

1892

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Золото / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1892

Мамин-Сибиряк – псевдоним Дмитрия Наркисовича Мамина, талантливого писателя, большого знатока жизни Урала и Сибири. «Золото» (1883) – одно из его самых значительных произведений. Роман основан на реальных фактах из жизни промышленного Урала конца XIX века.

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1892

© Public Domain, 1892

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	10
III	15
IV	19
V	24
VI	29
VII	34
VIII	39
IX	44
Часть вторая	48
I	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Золото

Посвящается Марусе

Часть первая

I

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

– Эх, вся кошменная музыка развалилась... да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо...

Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

– Только бы застать Родьку... – думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружающие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено, как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки, – эти, следовательно, находились на полном ходу.

– Ишь, подлецы, как землю-то изрыли, – проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухли. – Тоже, называется, золото ищут... ха-ха!.. Не положил – не ищи... Золото моем, а сами голосом воем.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменил с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки: сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымила громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид – трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

– Одна парадная дыра осталась... – проговорил он, направляясь к работавшей шахте. – Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и не торопясь ответила:

– Был, да весь вышел...

– Ах, чтоб ему ни дна ни покрышки! – обругался Кишкин.

– Ступай на Фотьянку, там его застанешь, – посоветовала голова.

– Легкое место сказать: Фотьянка... Три версты надо отмерить до Фотьянки. Ах, старый черт... Не сидится ему на одном месте.

– На брезгу Родион Потапыч спускался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит...

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. Ах, много тут денежек компания закопала – тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочем, у денег глаз нет: закапывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы»¹ – громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Дарового труда не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах... Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая пристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины, – с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

– Эге, дома лесной черт! – обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. Окладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кротовую нору.

– Мир на стану! – крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

– Милости просим, – ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая неожиданного гостя. – Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь...

– А дело есть, Родион Потапыч. И немаленькое дельце. Да... А ты тут старателей зоришь? За ними, за подлецами, только не посмотри...

– Все хороши, – угрюмо ответил Зыков. – Картошки хошь?

– В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

¹ Имеются в виду работы, выполнявшиеся в то время, когда прииски принадлежали казне.

– Ишь, лакомый какой... Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

– Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки, Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома ничего не оставил...

– Не ври. Не люблю... Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

– А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, – восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. – Много старателей-то?

– Десятка с три наберется...

Работы начинались сажень в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотоносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников» или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов². Мужики работали на забое, у воротов и на откатке, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

– Ишь, ледяной водой моют, – заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. – Что бы казарму поставить да тепленькой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзлись...

– Ничего ты не понимаешь! – оборвал его Зыков. – Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая; а второе дело – по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой – он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их сполосни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

– Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на стену полез.

– А не болтай глупостей, особенно чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить...

– Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

– Ну?

– Вырешили ее вконец... Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и прочее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

– Как же это так... гм... А Балчуговские промысла при чем останутся?

– Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит... Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четыреста тысяч десятин... А какие места: по Суходойке-реке, по Ипатихе, по Малиновке – везде золото. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы обьются... Там еще казенные

² *Вашгерд* (от нем. *Waschhert*) – небольшой станок для промывки руды, особенно золотоносной.

разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, Палестина необъятная...

– Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное – кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ как в чашке каша, а тогда и расплзутся... Их только помани. Народ отпетый.

– Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, – заговорил Кишкин искательным тоном. – Дело, видишь, в чем. Я ведь тогда на казенных ширфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка называется. Хорошие знаки оказывались... Вот бы заявку там хлопотнуть!

– Ну?

– Так я насчет компании... Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе... Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

– Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, чтобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?.. Да еще с тобой?.. Ха-ха!..

– Не ты, так другие пойдут... Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут... Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской – ну, назаявляют приисков на самой грани да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери... Вот это какое дело!

– А ведь ты верно, – уныло согласился Зыков. – Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани... Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, – прибавил он, – врешь ты все...

– А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

– Прежде-то что было, Родион Потапыч! – как-то особенно угнетенно проговорил он наконец, втягивая в себя воздух. – Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне... Разве нынче промысла? Разве работы?

– Что старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

– Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл?.. Я... да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир...

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатались у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

– Ну, будет тебе... Эк, что вздумал вспоминать!

– Да!.. – уже со слезами в голосе повторял Кишкин. – Да... Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется... да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются... Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел... да.

– Было и твое дело, что тут греха таить!

– Да что было-то? Дадут три сторублевых бумажки, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело... В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был... В глаза мне надо за это самое наплевать, в воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то что было... Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять

рабочих – писал сто, где сто кубических сажень земли вынуто – писал тысячу... Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают...

– А дом где? А всякое обзаведенье? А деньги? – накинулся на него Зыков с ожесточением. – Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься... В чем дому сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

– Было и это, – согласился Кишкин. – Тысяч с пять в карты проиграл и мадеру пил... Было. А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Выломках, его еще рекрута работали, – так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали – и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой – и к лапкам пристало, и к хвосту, и к усам. Эх, да что тут говорить...

– Кто старое помянет – тому глаз вон. Было, да сплыло...

II

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинаятся перед ним и про старину болтает «неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

– Ну, брат, мне некогда, – остановил он гостя, поднимаясь. – У нас сейчас смывка... Вот объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую сыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

– Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

– А диомид... Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомид не любит.

– А ежели грешным делом да того...

– Взорвет? Божья воля... Только ведь наше дело привычное. Я когда и сплю, так диомид под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт», – подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

– Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? – спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

– Не нашего ума дело, вот и весь сказ, – сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. – Без нас найдутся охотники до твоего золота... Ступай к Ермошке.

– Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

– Эх вы, свинорой! – ворчал Зыков, заглядывая на первую дудку. – Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу, каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом, вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, – это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно, Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничился только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями, – все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов» небольшими щетками. Шлихи – черный песок, образовавшийся из железняка; при промывке он осаждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тряпиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой про-

рехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом.

– Здорово, Турка... Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

– Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч... Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед барином. Светленько, говорю, прежде-то жил...

– Турка, ты ходил в штегерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках? – спрашивал Кишкин, понижая голос.

– Запоматывал как будто, Андрон Евстратыч... На Фотьянке ходил в штегерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомню.

– Ну а других помнишь, кто там работал?

– Как не помнить... И наши, фотьяновские, и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч...

Старый Турка сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не впору язык развязываешь, старина... Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

– Золотник с четью будет...

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную обьездным, и, обругав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

– Сиротское ваше золото, – заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять. – Из-за хлеба на воду робите...

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей, – это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

– Почем в контору сдаете? – спрашивал Кишкин.

– По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заработаешь, а что одежи износим, что обуя, это уж свое. Прямо – крохи...

Обьездной спешился и, свертывая сигарку из серой бумаги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда обьездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

– Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву...

– А ты что лаешься? – огрызнулся обьездной. – Чужое жалеешь...

Ругавшийся с обьездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

– А, это ты, Матюшка... – вступился Кишкин. – Что больно сердит?

– Псов не люблю, Андрон Евстратыч... Мало стало в Балчуговском заводе девок – ну и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

– И в самом-то деле, чего привязался! – пристали бабы. – Ступай к своим балчуговским девкам: они у вас просты... Строгаль!..

– Ах вы, варнаки! – ругался обьездной, усаживаясь в седле. – Плачет об вас острог-то, клейменные... Право, клейменные!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

– Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, – ответил за всех Матюшка. – Отваливай, Михей Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть воль-

ных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании – в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

– Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то...

– Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, – ответил Матюшка. – Сказывают, Кедровская дача на волю выходит... Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

– Молоко на губах не обсохло учить-то меня, – ответил Кишкин. – Не сказывай, а спрашивай...

– Это верно, – подтвердил Турка. – У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

– Не знаю ничего... А что?

– Да так... Мало ли что здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились...

Кишкин подсел на свалку и с час наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали... Какое это золото, когда и пятнадцать долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и пошабашил.

– Ты куда наклался? – спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

– А в Фотьянку, домой... Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

– Ну так возьми меня с собой: мне тоже надо на Фотьянку, – проговорил Кишкин, поднимаясь. – Прощайте, братцы...

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес – ни пашен, ни выгона. Издали Фотьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

– Кабак подпираете, молодцы, чтобы не упал грешным делом? – пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посуды и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

– Будь здоров на сто годов, Евстратыч, – проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки.

– Давненько я здесь не бывал... – задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. – Каково торгуешь, Фрол?

– У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстратыч. Кому здесь и пить-то... Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, что со святого, – немного возьмешь.

– Дай-ка нам пожевать что-нибудь...

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

– Вот что, друг, – заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке, – кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?... Значит, сейчас после воли?

– Есть живые, как же... – старался припомнить Турка. – Много перемерло, а есть и живые.

– Мне штейгеров нужно, главное, а потом – кто в сторожах ходил.

– Есть и такие: Никифор Луженый, Петр Васильич, Головешка, потом Лучок, Лекандра...

– Вот и отлично! – обрадовался Кишкин. – Мне бы с ними надо со всеми переговорить.

– Можно и это... А на что тебе, Андрон Евстратыч?

– Дело есть... С первого тебя начну. Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

– Да что показывать-то?

– А что следователь будет спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

– Да ты что испугался-то? – смеялся Кишкин. – Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели...

– А ежели, например, следователь бумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч... Меня ровно кто под коленки ударил.

– Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой...

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревенел и только отрицательно качал головой. В промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

– Нет, с тобой, видно, не сговоришь! – решил огорченный Кишкин.

– Ты уж лучше с Петром Васильичем поговори! Он у нас грамотный. А мы – темные люди, каждого пня боимся...

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. На Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильевич сразу смекнул, в чем дело.

– Да сделай милость, хоша сейчас к следователю! – повторял он с азартом. – Все покажу, как было дело. И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно... Ох, смекаю!..

– А смекаешь, так молчи. Наболело у меня... ох как наболело!..

– Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

– А уж это, как Бог пошлет: либо сена клок, либо вилы вбок.

Петр Васильич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его воз – его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильича перекреститься.

– Неужто правда, андел мой? А? Ах, божже мой... да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь эта наша компания – могила. Заживо все помираем... Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и бумагу читал? Правильная совсем бумага? С орлом?..

– Да уж правильное не бывает...

– И что только будет? В том роде, как огромный пожар... Верно тебе говорю... Изморился народ под компанией-то, а тут на, работай где хошь.

– Только смотри: секрет.

– Да я... как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А что касемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру веди – все как на ладонке покажем. Уж это верно... У меня двух слов не бывает. И других сговору. Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает, а я всех подобью: и Луженого, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал... Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

– Да уж он знает! Я к нему заходил по пути.

– Ну, что он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая цепная собака: ни во двор, ни со двора не пускает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке – ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха!.. Ах, андел ты мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь, – впервой, когда россыпь открыл, а теперь – словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами, – стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец...

В свою очередь, Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

III

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные части: правая – Нагорная и левая – Низменная – Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке – месте поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное винокурение, велись военной рукой – с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные – «варнаки», а низовые – «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного острога, «пьяная контора» и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу – никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, – все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее редко молодыми, – а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую: «Это еще при Марфе Тимофеевне было», или «Покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

– А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену – да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с жениной родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал на воскресенье дома, а затем в воскресенье же

вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем: нужно было все работы пускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенское воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу домотканые половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно, ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

– А где малый?

Яков Родионыч под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажать внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от бабушки, а бабушка относился к сыну с большим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов: этот нехорош, другой нехорош, третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убежом за строгаля в Низах, по фамилии Мыльников. Это был настоящий *mésalliance*³, навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери, – муж попался «карахтерный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставалось всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смирный и работающий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибивавшая семья – детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот, в свою очередь, всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакала на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозила, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все

³ Неравный брак (фр.).

девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын...

В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дому, как это сделала в свое время Татьяна, – с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотиносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «некрутчине» и вообще неволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она, вместо того чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

– Вот ужо воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех... Ох, смертынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное, потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась... В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

– Что уж, матушка, убиваться-то без пути, – утешала замужняя дочь Анна. – Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают...

– Ишь, выискалась?! – ругался Яша. – Бабы должны за девками глядеть, чтобы все сохранно было... Так ведь, Прокопий?

Прокопий, по обыкновению, больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами, чуть что, – и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

– Вот вы все такие, зятя! – ругался Яша. – Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самих не трогали...

– Я, что же я?.. – удивлялся Прокопий. – Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты – сын, Яков Родионыч: тебе много поближе... Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

– Дураки вы все, вот что... Небось, прижали хвосты, а я вот несколько не боюсь родителя... На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, – ну и не стерпела девка. По человечеству надо рассудить... Вон Марья из-за родителя в перестарки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю... Мне что, я его вот на эстолько не боюсь!..

– Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, – нерешительно советовала Устинья Марковна. – Может, и уговоришь... Не чужая тебе Феня-то: родная сестра по отцу-то.

– И в Тайболу съезжу! – горячился Яша, размахивая руками. – Я этих кержаков в бараний рог согну... «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ... У меня, брат, не отвертишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно, и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

– Ну, мамушка, Устинья Марковна, благословляй... Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

– Дай тебе Бог, Яша... Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльников, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

– Куда такую рань наклеся, дорогой деверек? – спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

– Да так... в город по делу надо съездить, – соврал Яша, и так неловко, что сам смутился.

– Ну-ну, не ври, коли не умеешь! – оборвал его Мыльников. – Небось в гости к богоданному зятю поехал?... Ха-ха!.. Эх вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню срамите... А что, дорогой тестюшка каково прыгает?..

– И не говори: беда... Объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала... Может, и оборочу Феню.

– Хо-хо!.. Нашел дураков... Девка – мак, так ее кержаки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела... да. Вон у меня дерево стоеросовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо – да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась...

– Да это бог бы с ней, что убогом, Тарас Матвеич, а вот вера-то ихняя стариковская...

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

– А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня... Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот что, Яша, подвинься немного в седле...

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

– Да ты куда это? – изумлялся Яша.

– Как куда? Поедем в Тайболу... Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз...

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

– Ну ты, дерево, смотри у меня! – пригрозил ей отец. – Чтобы к вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолубивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

– Уродится же этакое дерево... а?..

IV

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

– Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. – хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. – Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим... Уважим в лучшем виде! Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить... Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город копотит! Он...

Они нагнали шагнувшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал ехавших верхом родственников.

– Андрону Евстратычу! – крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. – Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается...

– Али на свадьбу собрались? – пошутил Кишкин, ослабившись. Он уже знал об убеге Фени.

– Горе наше лютее, а не свадьба, Андрон Евстратыч, – пожаловался Яша, качая головой. – Родитель сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатронит...

– Бог не без милости, Яша, – утешал Кишкин. – Уж такое их девичье положение: сколь девку ни корми, а все чужая... Вот что, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

– Милости просим, Андрон Евстратыч... Ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?..

– А ты пасть-то свою раствори, Тарас! – огрызнулся Кишкин. – О Пронькиной вышке своя речь... Ах, ботало коровье!.. С тобой пива не сварить...

– Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богатство предоставлю! – хвастался Мыльников. – Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку... И местечко только!

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На расстани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед:

– Шишка и есть: ни конца ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха!.. Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко... Ох какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходце закопачивает? Он... Ловко. В город погнал с краденым золотом...

Раскольничье «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная – каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

– Подворачивай! – крикнул Мыльников, когда они поравнялись с кожинской избой. – Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольничьему обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

– Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, бабушка Маремьяна, – заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

– Заходите, гости будете, – пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной щеколде. – Коли с добром, так милости просим...

Двор был крыт наглухо, и здесь царил такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

– У себя дома молись, родимый, а наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

– Ну, начинай, чего молчишь, как пень? – подталкивал Яшу Мыльников. – За делом приехали...

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

– Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать... – проговорил наконец Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот.

– Не чужие будем, баушка Маремьяна, – вставил Мыльников.

– А на какую причину она вам понадобилась? – ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщовую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

– Мы с добром приехали, баушка Маремьяна, – отвечал Мыльников, размахивая рукой. – Одним словом, сродственники... Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

– Ладно, коли с добром, – согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

– Медведица... – проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. – Погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему... Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опущенными такими длинными ресницами.

– Здравствуйте, братец Яков Родивоныч, – покорным тоном проговорила она, кланяясь. – И вы, Тарас Матвеич, здравствуйте...

– Вот что, Феня, – заговорил Яша, – сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть... Вот какая оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

– Крутенок тестюшка-то Родивон Потапыч, – прибавил Мыльников. – Таку резолюцию наведет...

– Что же я, братец Яков Родивоныч... – прошептала Феня со слезами на глазах. – Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит... Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверью слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навыпуск.

– Вот что, господа, – заговорил он, прикрывая жену собой, – не женское дело разговоры разговаривать... У Федосьи Родионовны есть муж, он и в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу... Мы от ответа не прячемся... Наш грех...

– Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! – заметил Мыльников и засмеялся. – Он тебе покажет...

– И поговорим, и даже очень поговорим, – уверенно ответил Акинфий Назарыч. – Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

– Да про побег нет слова, Акинфий Назарыч, – вступился Яша, – дело житейское... А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

– Что же вера? Все одному Богу молимся, все грешны да Божьи... И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию выдалась: у Мятелевых жена православная по городу взята, у Никоновых ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде... Маменька, Феня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда!.. Так ведь, Тарас?

– Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! – блаженно изумлялся Мыльников. – В самое то есть живое место попал... Семь бед – один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по шучьему веленью: и водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

– Господа, пожалуйста! – приглашал Акинфий Назарыч. – Сухая ложка рот дерет... Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя!.. Ну, да все равно: семь бед – один ответ... И Фени жаль, и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение... Любил он выпить в хорошей компании...

– А где баушка Маремьяна? – пристал он. – Хочу непременно с ней выпить, потому люблю... Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то настойки.

– Как же теперь нам быть? – спрашивал Яша после третьей рюмки. – Без ножа зарезала нас Феня...

– Чему быть, того не миновать! – весело ответил Акинфий Назарыч. – Ну пошумит старик, покажет пыль – и весь тут... Не всякое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных побегом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами...

– Оно конечно, – соглашался пьяневший Яша. – Я ведь тоже с родителем на перекосях... Очень уж он компании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою... Тоже в другой раз и обидно.

– А ты выдела требуй, Яша, – советовал Мыльников. – Слава богу, своим умом пора жить... Я бы так давно наплевал: сам большой – сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

– Перестань молоть! – оговаривала его старая Маремьяна. – Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше... Так ведь я говорю, сват – большая родня?

– Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как троюродное наплевать. А мне бог с ним... Я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

– Что же, ну, пусть родитель выворачивается с Фотьянки... – рассуждал он, делая соответствующий жест. – Ну выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое прочее... А там хоть на части режь...

– Он за баб примется, – говорил Мыльников, удушливо хихикая. – И достанется бабам... ах как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть... Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили – надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

– Уж я все устрою, шурин... все!.. У меня, брат, Родивон Потапыч не отвертится... Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, сообрази мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует...

– Хорошо, хорошо... – соглашался «молодой». – Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамят... И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

– Перестань убиваться-то, – ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. – Москва слезам не верит... Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал
Да станового обучал...

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Ераков. Оба были немного навеселе.

– Ох, два голубя, два сизых! – крикнул Ермошка, поравнявшись с верховыми. – Откедова Бог несет?.. Подмокли малым делом...

– А тебе завидно? – огрызнулся Мыльников. – Кабацкая затычка, и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок...

– Который теперь час? – спрашивал он.

– А скоро, видно, три... Гляди, уж господа теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

– А ну его... Побьет еще, пожалуй.

– Н-но-о?..

– Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту-отцу какой-то панический страх... А вот и Балчуговский завод, и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

– Гли-ка, гли, Яша! – крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. – У моих-то ворот кто сидит?

– И то как будто сидит.

– Да ведь это Шишка... Верное слово!.. Ах, раздуй его горой...

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

– Ох-хо-хо! – заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. – Вот так Окся: уважила Андрона Евстратыча... Ишь, разыгралась к ненастью! Ах, курва Окся, ловко она саданула...

V

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно: что у нее вперед и язык немеет, и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя недосмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть... «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков – на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать.

– Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, – вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие – все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

– Нету ведь Яши-то, – шепотом сообщила ему Устинья Марковна. – С самого утра уехал... Что ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке...

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

– Ты куда, Прокопий? – окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

– Я пойду Яшу искать, – ответил он, глядя в угол. – Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять... Всякому до себя.

– А что же в баню-то сегодня не пойдешь, что ли? – окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

– Успеется и баня, – ответил Прокопий. – Пусть батюшка первым идет...

«Банный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием, и проворчала:

– Тоже, мужик называется... Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

– Молчи, Марья! – окликнула ее мать. – Ты бы вот завела своего мужика да и мудрила над ним... Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

– У тебя нет лучше Прокопья, – ворчала Марья.

– Ты у меня поворчи! – крикнула мать. – Зубы-то долги стали...

За уходом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в банный день по чужим дворам.

На всякий случай затеплила она лампадку пред Скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутный из Фотьянки.

– А где Феня? – спросил он, по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

– В соседи увернулась, – ответила Устинья Марковна, ни живая ни мертвая от страха.

– Не нашла время...

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился.

– Это на какую причину лампадка теплится? – спросил он.

– А воскресенье завтра, Родивон Потапыч... Банька готова, хоть сейчас можно идти.

– А Прокопий когда успел в баню сходить?

– Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

– Порядков не знаете?! – крикнул старик и топнул ногой. – Ты у меня смотри, потатчица...

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский енерал
Да ста-анового о-бучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши... Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже слышались во дворе, а потом грузный топот шарашившихся ног на крыльце.

– Батюшки, да никак и Тарас с ним! – охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

– Родителю... многая лета... – бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. – А мы вот с Яшей, значит, тово... Да ты говори, Яша!

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные как стельки – и лезут с мокрым рылом прямо в избу... Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

– Так мы, значит, из Тайболы... – объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. – От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

– От какой Федосьи Родивоновны? – повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. – Да вы сбесились, оглашенные?.. Да я...

– А ты не больно, родитель, тово... – неожиданно заявил насмелившийся Яша. – Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово... убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой ташили, а она свое... Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая:

– Уж и что мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу... за кержака, за Акинью Кожина... Третий день пошел...

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватила за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

– Да вы... вы одурели тут все без меня? – хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. – Да я вас!.. Яшка, вон!.. Чтобы и духу твоего не осталось!

– А ты не больно, родитель, тово... – дерзко ответил Яша.

– Что-о?!

– А вот это самое... Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно... Пора мне и своим умом жить... Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам...

– Правильно, Яша! – поощрял Мыльников. – У меня в суседах место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю...

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь.

– Да ты не больно!.. – кричал Мыльников уже в сенях. – Ишь какой выискался... Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной...

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

– Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

– Ну вот... – проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. – Ну что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая...

– Тятенька, миленький...

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирененько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

– Наташка, перестань... Брось... – уговаривал ее Мыльников. – Не смущай своо родителя... Вишь, как он сразу укротился. Яша, что же это ты в самом-то деле?.. По первому разу и испугался родителей...

– И ты тоже хорош, – корил Яша своего сообщника. – Только языком здря болтаешь... Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

– Ты... ты зачем? – грозно спрашивал его старик.

– А дело есть, Родивон Потапыч... Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

– Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

– И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следует и понимать...

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благословляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

– Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч... Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

– Ну, был...

– Опрашивал он тебя касаясь допрежних времен и казенной работы?

– Пустой он человек. Болтал разное...

– Ну так слушай... Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал...

– Да не болтай глупостей, шалая голова!.. Не люблю...

– Донос Шишка пишет, вот что! – точно выстрелил Тарас. – О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал... Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в

один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

– Не пойму я тебя, Тарас, – сурово проговорил старик. – А ты садись да и рассказывай толком...

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избушки.

– Сперва-то он издалека речь завел, – рассказывал Мыльников. – Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и что всякий там может работать... Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвеич, ходил в шорниках на Фотьянке? Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как анжинеры золото воровали?..» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел, и пошел... И нынешнюю, грит, компанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловердный, выходит...

– Ну, а еще-то что?

– Да все тут... А ежели относительно сестрицы Федосьи Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне.

– Ну, это не твоего ума дело! Убирайся...

– Только и всего?

– Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дурак, что с таким худым решетом, как ты, связывается!..

– Ну и дал Бог родню! – ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

– Ты это что за модель выдумал... а?! – грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. – Кто в доме хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

– Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, – упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. – А желаю выдел получить...

– Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами...

– А уж что Бог даст... Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А что касаемо выдела, так уж как волостные старички рассудят, так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван.

– Пора мне и свой угол завести, – продолжал Яша. – Вот по весне выйдет на волю Кедровская дача, так надо не упустить случая... Все кинутся туда, ну и мы сговорились.

– Что-о?..

– Сговорились, говорю. Своя у нас компания: значит, зять Тарас Матвеич, я, Кишкин...

– Вот так компания! – охнул Родион Потапыч. – Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду... Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет – Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: тряхнулся старик...

– Так компания? А? – спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. – Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться... а?..

– Уж это кому какие Бог счастья пошлет...

– Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

– Как же насчет Фени-то?.. – шептала она побелевшими от страха губами. – Слезьми, слышь, изошла...

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

– Будь она от меня проклята...

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

– Родион Потапыч, опомнись!.. Родной...

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

VI

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор.

– Степан Романыч дома? – сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

– У них гости... – с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. – К нам нельзя-с...

– Дурак! – обругал старик, отгаливая Ганьку. – А ты, Яшка, подождешь меня здесь!..

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье, вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

– У них гости... – шепотом заявила она, как и Ганька. – Анжинер Оников да лесничий Штамм...

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

– Сурьезное дело есть... Так и скажи, – наказывал он с обычной внушительностью. – Не задержу...

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинuty назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливых остается немного.

– Ну что, дедушка? – весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. – Шахту, видно, опустил?..

– С нами крестная сила! – охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. – Уж только и скажешь словечко, Степан Романыч...

– Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит и вода близко... Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну и с этой то же будет...

– Может, и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романыч, – нравоучительно заметил старик. – Не таковское это дело...

– А что?

– Да так... Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал... Вот когда приезжают посмотреть работы, да особенно который гость похвалит, – нет того хуже.

– Сглазить шахту можно?.. – засмеялся Карачунский. – Ну бог с ней...

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

– Что, разве чай будем пить, дедушка? – весело проговорил он. – Что мы будем в передней-то стоять... Проходи.

– Ох, не до чаю мне, Степан Романыч...

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

– К твоей милости пришел, Степан Романыч... Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежда...

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

– Дедушка, что ты... Дедушка, нехорошо!.. – бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. – Разве можно так?..

– Парня я к тебе привел, Степан Романыч... Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я тово... Будь отцом родным...

– Какого парня, дедушка?

– Да Яшку моего беспутного...

– Ах да... Ну, так что же я могу сделать?

– Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать... Он на дворе ждет.

Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

– Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

– Вот то-то и горе, что седой, а дурит... Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть... На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

– Вот не угодно ли? – обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. – Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет... Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда; может быть, я вас помирю как-нибудь.

– Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, чтобы в чистые комнаты его пушали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

– Я не имею права, да и никто другой тоже.

– Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «приисковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оикова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами.

– Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, – заговорил Карачунский. – Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу.

Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся.

– Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном выпало, – заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. – Чем он тебя обидел?

– А за его качества... – сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. – Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик не торопясь рассказал про все подвиги Яши: как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

– А главная причина – донял он меня Кедровской дачей, – закончил Родион Потапыч свою повесть. – В старатели хочет идти с зятишкой да с Кишкиным.

– Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

– Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить... Забегал он ко мне как-то на Фотьянку и все выпытывал про старое, а я догадался, что он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

– А я только сегодня узнал, дедушка: и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике... Все болтают про Кишкина.

– Пустой человек, – коротко решил Зыков. – Ничего из того не будет, да и дело прошлое... Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

– А если тебя под присягой будут спрашивать?

– Ничего я не знаю, Степан Романыч... Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно... А потом путал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

– Ничего, все это пустяки... – отшучивался Карачунский. – Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену – и вся недолга.

– Было бы из чего набавлять, Степан Романыч, – строго заметил Зыков. – Им сколько угодно дай – все возьмут... Я только одному дивлюсь, что это вышнее начальство смотрит?... Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?... Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все... Казенного добра жаль.

– Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? – в шутиливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. – У казны еще много останется от нас с тобой...

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

– Как же это так, Степан Романыч?... – бормотал он. – Все мы от казны хлеб едим... Казна – всему голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, – господа, да что же это такое делается? Точно во сне... Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Иваныча, – старик указал глазами на Оникова, – Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают... А как приехал – все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без этого и работы не начинали... Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?... Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле... Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись... Как-то раз один служащий – повытчики еще тогда были, – повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах да пьяненький и попадись Телятникову на глаза. «Зайди, – говорит, – дедушка, ко мне...» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых – или я тебя сейчас со службы прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и

смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего... Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, – косточки бы ихние в могилах перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

– Будем посмотреть, дедушка...

– Что это я сию-то, – спохватился Родион Потапыч. – Меня ведь парень-то ждет во дворе.

– Оставь, дедушка, – вступился Карачунский. – Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку...

– Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать...

Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

– Это которая? – припоминал Карачунский. – Одна с серыми глазами была...

– Вот эта самая, Степан Романыч... Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

– Да, действительно, неприятный случай... – тянул Карачунский, закусывая себе бороду.

– Что же я теперь должен делать?

– Гм... да... Что же, в самом деле, делать? – соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. – Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать... Когда Феня ушла?

– Да уж четвертые сутки... Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божескую милость, вороти девку... Парня ежели не хотел отодрать, ну, бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет, заслужил же хоть что-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают...

– Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать!.. – взмолился Карачунский. – Уж для тебя-то я все бы сделал.

– Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить... Главная причина – вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так...

– Ну хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

– У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, что пес налакал... Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

– Сколько ей лет?

– Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

– Нельзя воротить: совершеннолетняя...

– Как же, значит, я, родной отец, и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет... Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, чтобы потакать.

– Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу, – предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. – Только едва ли будет успех... Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

– Ежели бы жив был Иван Герасимыч, – со вздохом проговорил он, – да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж, видно, через волюсть.

– Ничего не могу поделать! – уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов – и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

– Вставай, варнак! Ужо завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает...

VII

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К°» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело – едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно: чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая – этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население с лишком в десять тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб – тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании – она могла делать с ними, что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек – совершенно особенный, и, куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский; он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходочков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляющим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройтва, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский в принципе был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышинный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение

было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, – в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

– Вы знаете этого... этого Кишкина? – обратился он неожиданно к Оникову.

– Что-то такое слышал... – небрежно ответил молодой человек. – Даже, кажется, где-то видал: этакий гнусный сморчок. Да, да... Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное...

Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма, и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

– А вы как думаете, Карл Иванович? – обратился к немцу Карачунский.

– Что я думаю? – ответил немец вопросом. – Я думаю, что будем посмотреть...

«Вот два дурака навязались!» – со злостью думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, протирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

– Сейчас будут-с, – докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

– Вчера у меня был Родион Потапыч, – заговорил Карачунский без предисловий. – Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча... Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

– Что же, мы всегда готовы помириться... – бойко ответил Кожин, встряхивая напояженными волосами. – Только из этого ничего не выйдет: Степан Романыч карактерный старик, ни в какой ступе не утолчешь...

– Все-таки надо помириться... Старик совсем убит.

– И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романыч... Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера.

– Да... это действительно... Как же быть-то, Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом...

– А уж что Бог даст, – решительно ответил Кожин. – По моему рассуждению так, что, конечно, старику обидно, а судом дело не поправишь... Утихомирится, даст Бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

– Ничего, все устроится помаленьку, – утешал Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

– Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для вас, Федосья Родионовна.

– Что же ты не благодаришь Степана Романыча? – говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. – Они весьма нам могут способствовать...

– Не нужно, не нужно... – отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. – Для такой красавицы можно и без благодарностей сделать все.

Когда Кожин уезжал, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабанив пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица... Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского зародились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо... Разве Кожин понимает, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея грела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил, к своему удивлению, Родиона Потапыча. Старик сидел у кучки кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

– Ну, дедушка, что новенького?

– Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают... – угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновском кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закулив папиросу, прислушивался к громохавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе – Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов.

– Вот что, Родион Потапыч, – заговорил Карачунский после длинной паузы. – Я посылаю за Кожиним... Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

– Поздно, Степан Романыч... Я... я проклял Феню.

– А это что значит: проклял?

– А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено... Выворотится Феня домой, тогда прощу.

– Ну, это ваше дело, – равнодушно заметил Карачунский. – Я свое слово сдержал... Это мое правило.

Толчея соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями, – это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

– Это с двадцати пудов? – заметил Карачунский. – Недурно... А кто нашел жилу?

– Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась, – объяснил уклончиво Зыков. – Все фотьянские... Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту, – это будет очень эффектно и в заводских отчетах, и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси!» – думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

VIII

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запиrowал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерья подала Марья.

– Одна она управится с тятенькой, – говорила девушка потерявшей голову матери, – баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

– Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, – стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. – Свою кровь не пожалел...

– Уж баушка Лукерья знает, что сделать... Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

– Ну, что у вас тут случилось? – строго спрашивала баушка Лукерья. – Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Что же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

– Иди-ка сюда, воевода, – ласково говорила старуха. – Иди... видишь, в гости к тебе приехала...

– Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

– Горденек стал, Родион Потапыч... На плотине постоянно толчешься у нас, а нет чтобы в Фотьянку завернуть да старуху провести.

– Некогда все... Собирался не одинова, а тут какая-нибудь причина и выйдет...

– У тебя все причина... А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью...

– Не ко время гоститься вздумала...

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч, – заговорила старуха серьезно, – я к тебе за делом... Ты это что надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну пожурил, пострадал, отвел душу – и довольно...

– Что уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

– Да ты слушай, умная голова, когда говорят... Ты не для того отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить... Сам, говорю, виноват!.. Ну, что молчишь?..

– Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли, – оправдывался старик, – зато и расхлебывает теперь горе...

– И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой!.. Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил: разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет Господа гневить... Со своими грехами замаялись, не то что других проклинять.

Родион Потапыч был рад, что подвернулась баушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был немало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии Божиим.

– Нет, ты ему, отец, епитимию определи, – настаивала баушка Лукерья. – Надо так сделать, чтобы он чувствовал...

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

– А теперь и о деле потолкуем, – решила баушка Лукерья. – Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей...

Отец Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

– Нет, это пустое, отец, – решила баушка Лукерья. – Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит... Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить... Главное дело, она из своего православного закону вышла, а наши роды испокон века православные. Жиденский еще умок у Фени, вот она и вверилась...

– Силой нельзя заставить людей быть тем или другим, – заметил о. Акакий. – Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже... Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой...

– А я ее к себе возьму и выправлю, – решила старуха. – Не погибать же православной душе... Уж я ее шелковой сделаю.

– Будь ей заместо матери... – упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. – Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше...

– У меня отойдет и дурь свою бросит...

Отец Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

– Славный бы попик, да молод больно...

– Ему же лучше, что и молод, и умен. Вон какой очесливый да скромный...

– Ну вот что, други мои милые, засиделась я у вас, – заговорила баушка Лукерья. – Стемнелось совсем на дворе... Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на есть...

– Да ты верхом, что ли, пригнала? – сурово спросил Родион Потапыч.

– Пешком-то я угорела уж ходить: было похоже в досталь...

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

– Куда ты ускоришься-то? – спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. – Ночевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп...

– Невозможно мне... Гребтится все, как там у нас на Фотьянке? Петр-то Василий мой что-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным... Не гожее дело.

– Золото хотят искать... Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот что тебе скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь...

– И любезное дело, – согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне. – Одной-то мне, пожалуй, и опасно по нонешнему время ездить, а сегодня еще воскресенье... Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие... Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали что ни есть хуже, да еще с седла хотели стащить...

– Собака-народ стал, баушка...

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

– Вот говорят, что гусь свинье не товарищ, – шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась смешанная струя пьяного галденья.

– Тьфу!.. – отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. – Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака... Днюют и ночуют у Ермошки.

– Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху... Что только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец... Никакой страсти не стало в народе.

– Глаза бы не глядели, – с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадьёю. – Охальники... И нет хуже, как эти понедельники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу... Как мухи травленные ползают. Рыло опухнет, глаза затекут... тьфу!..

Поравнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду.

– Помнишь место-то?.. – тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы». – Много тут наших варнацких слез пролито...

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

– Когда нашу партию из Расеи пригнали, – продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь, – дорога-то шла через Тайболу... Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обыкновенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, что такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете...» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то... Помрем, так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, что без попа церковь не стоит... И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже... Известно,

женское дело страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, что в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой.

– Привели-то нас, как теперь помню, под вечер... – продолжала баушка Лукерья. – Мужичья каторга каменная, а наша, бабья, – деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантами: любопытно на свеженьких поглядеть... Этак с крайчику, слева значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жметя около меня: она в партии-то всех помоложе была и из себя красивее. Ну, Антон Лазарич...

– Молчи, ради Христа! Молчи... – простонал Родион Потапыч.

– Дело прошлое, что греха таить... А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит... Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя: добрейший человек и богобоязливый... Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была... О, грехи, грехи!..

– Охальник был... – сурово заметил Родион Потапыч. – Собаке собачья и смерть.

– Понапрасну погинул, это уж что говорить! – согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. – Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкашка-девка... Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, – говорит, – черкашка меня ножиком резала, а я человек семейный...» Слезьми заливается. Как раз через три дня его и порешили, сердешного.

– Бузун его зарезал... С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

– А пошто же на палача Никитушку говорили?

– Здря народ болтал...

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

– Сказывают, Никитушку недавно в городе видели, – говорит старуха. – Ходит по купцам и милостыньку просит... Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной... благодетель...» А он-то бахвалится.

– Пьяный был без просыпа... Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

– Бывал он и у нас в казарме... Придет, поглядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного...» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя, и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть на пьяного-то...

– Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась, – перебил ее Родион Потапыч, – а я вот про нынешние порядки соображаю... Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, – одним словом, казенное время... А теперь-то что?.. Не то что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту... Дальше-то что будет?..

– На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался... Главная причина: никакой народу страсти не стало... В церковь придешь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поравнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

– Ну, прощай, Родион Потапыч... Так ты тово, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

IX

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и пр. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах: коморник Мutowка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался, откатчики при шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

– Да вы тут совсем сбесились! – гремел старик на подгулявших рабочих. – Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

– А ты не больно того... – огрызался он из своей засады. – Слава богу, не казенное время, чтобы с живого человека три шкуры драть! Да...

– Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите!..

– Обыкновенно, ты ответишь, – сказал Лучок. – Ты жалованья-то пятьдесят целковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь виноват... А с меня за двадцать-то целковых не много возьмешь.

– Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!

– И скажу навсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

– Ступай, пожалуйся на меня, пес! – кричал старик вдогонку лукавому рабу. – Я на твое место двадцать таких-то найду...

– А мне плевать! – слышался из темноты голос Лучка. – Ишь как расшеперился!.. Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на непрременном условии, что это «в последний раз». Все знали, что настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно «ходил бы в штегерях», а может быть, и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, – живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое

оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипением и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода; слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передраги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в шестнадцать, на свой грех, попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником... Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением: серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой – золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало «на караул» даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой – солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» – парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльнопоселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже

чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего девятнадцать лет, а попала она из помещицкой девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновной в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать.

– Одна сестра с сахаром, другая с медом, – шутил смотритель, – а я до сахару большой охотник...

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться... Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

– Что это с тобой, Родион?.. Как будто ты не в себе...

– Неможется, Антон Лазарич, – сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону. Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напоминал ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

– Не девушкой я за тебя выходила замуж... – шептали побелевшие губы. – Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

– Марфа, бог с тобой, какие ты слова говоришь...

– Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша...

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле да больше и не оттаял. Трудно приходилось – молчал, хорошо – молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно – в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрились его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скуп-

щики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковверных людей. Пожалел он дураков... И действительно, Балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час – и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то, – подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. – Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался... Ну, как-нибудь в другой раз».

С лишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишенные военной заправки, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал – золотник золота обходился казне в двадцать семь рублей при номинальной его стоимости в четыре рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенесся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средством, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонними заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепости уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали, куда деваться, и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

Часть вторая

I

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев – настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа... Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сторел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.